

Дарья Московская
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8089-9604>

(Институт мировой литературы им. А.М. Горького
Российской академии наук, Москва, Россия)

Горький как институция

Gorky as an institution

Резюме: В основе коллективного мифа, созданного вокруг М. Горького до революции, лежали образы социального и духовного протеста. Горький вывел себя за рамки идеологического дискурса царизма и литературы как социального института, обслуживающего отжившие социальные отношения. Публицистика Горького 1930-х гг. создает новые общественные ценности и исторические нарративы. И хотя литературно-политический дискурс Горького был исторически обречен, его творчество отмечено персонализмом, утверждающим «нерешенный интеграл человеческой личности», что сохраняет его среди лучших мыслителей XX века.

Ключевые слова: Максим Горький, идеологический дискурс, протест, институция, социальная ценность, исторический нарратив, персонализм

Summary: The collective myth created around Maxim Gorky before the revolution was based on images of social and spiritual protest. Gorky took himself beyond the ideological discourse of tsarism and literature as a social institution serving obsolete social relations. Gorky’s journalism of the 1930s creates new social values and historical narratives. Although Gorky’s literary and political discourse was historically doomed, his work is marked by personalism, asserting the “unresolved integral of the human personality”, which keeps him among the best thinkers of the twentieth century.

Key words: Maxim Gorky, ideological discourse, social value, historical narrative, personalism

А.М. Горький принадлежит к тому кругу великих людей, кто при жизни и после смерти породил широкое пространство разномыслия. Полярность взглядов предопределена, в первую очередь, отношением к социальной активности писателя, ибо Горький, как и его персонажи, от Данко до Вассы Железновой, был человеком мощного внешнего действия. Экзистенциальным вопрошаниям искусства он всегда отвечал «эстетикой» практического действия: «ибо нельзя есть щи с радугой... как нельзя в декабре гулять по улицам, одевшись в ткани грез. [...] Бросим философию, она больше ничего не заслуживает» (Горький 1997–2019, т. 1: 132)¹. Сегодня, оглядываясь на след, оставленный Горьким в культуре России XX века, мы всё чаще концентрируем внимание не на его художественном наследии (ценность которого неоспорима), а на месте и роли писателя в создании «языкового стандарта», который, по словам Виктора Живова, является «важнейшей социокультурной институцией меритократического общества» (Живов 2005), воспроизводящей отношения социального доминирования. Вспомним В.М. Волошинова:

¹ Далее: Письма.

Мы, в действительности, никогда не произносим слова и не слышим слова, а слышим истину или ложь, доброе или злое, важное или неважное, приятное или неприятное и т.д. [...] Как такое мы его понимаем и лишь на такое, задевающее нас идеологически или жизненно слово мы отвечаем (Волошинов 1993: 6).

С позиции идеологически заряженного (чужого, в терминах М.М. Бахтина) слова интересен опыт Горького – активного участника институциональной, организующей и организационной, деятельности в государстве, строящем социализм «в отдельно взятой стране». В публицистике вернувшегося из Сорренто в советскую Россию после семилетнего отсутствия Горького ясно обозначилось идейное и стилевое пограничье, которое отделило Россию бунинскую от России сталинской зоной культурной интерференции, где совершалось преобразование и распад мировоззрений, жизненных укладов, ценностей. Это время, когда Горький теряет личностное существование и становится *Мастером* – тем, чье слово не просто описывает нечто или нечто констатирует, но изменяет реальность, т.к. создает новое – советского человека.

Самый приход Горького в литературу был необычен. Он, по словам Вяч. Полонского, ворвался в литературу, словно яркая звезда: «Горький – горящий, светлый, светящийся, один из тех, немногих [...] кому судьба сулила быть светочем своего времени» (Полонский 1988: 30). Тоскующий Прометей – еще одно определение, которым Полонский охарактеризовал Горького, для которого философские поиски были искажающей реальной облик мира сеткой, «сквозь которую мир виден не таким, каков он есть» (Письма, т. 18: 619). Вдохновленный бабушкиными сказками, он предпочел игре мысли игру воображения, но лишь потому, что она мобилизует силы для борьбы за лучшую долю, учит «жить воображая, а не думая» (Письма, т. 1: 80). Литература, а не философия, ставит писателя в один ряд с пророками – в этом ключе Горький судил о Стендале, который «придал литературе характер “Священного писания” о человеке. Вместе с Бальзаком и Флобером, – [...] они – для меня так велики, как авторы “Книги Иова”, “Екклезиаста”» (Письма, т. 6: 209), а пытающийся морализировать творец, например, Лев Толстой, в глазах Горького неизбежно проигрывал самому себе как художнику.

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться», – писал Горький (Горький цит. по.: Спиридонова 2008)². Его «несоглашательство» надо понимать буквально. Его протест против недолжного мироустройства был чреват уничтожением или себя, или других. В письме 1902 г. Пятницкому из арзамасской ссылки он признавался, немного бравируя: «Явное издевательство надо мной. Полицейский под окнами стоит. Данилов мне не встречается, чувствуя, видимо, что этого делать не надо, храня свою морду. Если его отсюда не уберут – избобью, как ни скверно это. Изувечу» (Письма, т. 3: 71). На Капри, в 1908 г., уже вдали от «Даниловых» он остался верен площадной лексике, когда речь шла об идейных оппонентах – литераторах-декадентах:

² Цитата из несохранившейся поэмы А.М. Горького *Песнь старого дуба*.

Каждый день приносит какой-либо сюрприз – «Суламифь» Куприна, стихи «модернистов», интервью Леонида, [...] статьи Изгоева и других ренегатов – каждый день кто-нибудь встает пред тобой голый и весь в гнилых язвах. Нет терпения! Хочется орать, драться с этой сволочью, хочется топтать ногами эти «неустойчивые психики» (Письма, т. 6: 194). Все это мучает меня, разрывает на части. Я начал писать ряд резких статей в форме открытых писем к литераторам – мне хотелось указать им на требования момента, на их обязанности. Но – куда писать? Кому? Это камень, брошенный в болотную трясиину, – ни звука, ни кругов. Эти несчастные, больные, пьяные, оторванные от жизни люди – ничего не поймут, ничего не услышат – будь они прокляты. [...] Хочется драться, ругаться, кричать (Письма, т. 7, 2001: 21).

В период своей наибольшей оторванности от России, охваченной реакцией, затаившейся в испуге и бессилии после блистательного революционного порыва, из своего каприйского далёка Горький ясно различал водораздел между отвлеченной «литературностью» в форме морализаторства или художественности, с одной стороны, и жизнью с ее борьбой за лучшую долю – с другой. В нервно-раздраженных письмах к Пятницкому он проговаривал остро переживаемую им важнейшую духовную потребность времени, которую в 1919 г. в статье *Искусство и ответственность* теоретизировал М.М. Бахтин:

Художник и человек наивно, чаще всего механически соединены в одной личности: в творчество человек уходит на время из «житейского волнения» как в другой мир «вдохновения, звуков сладких и молитв». Что же в результате? Искусство слишком дерзко-самоуверенно, слишком патетично, ведь ему же нечего отвечать за жизнь, которая, конечно, за таким искусством не угонится. [...] Когда человек в искусстве, его нет в жизни, и обратно. [...] За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. [...] Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов. [...] И нечего для оправдания безответственности ссылаться на «вдохновение». Вдохновение, которое игнорирует жизнь и само игнорируется жизнью, не вдохновение, а одержание. [...] Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности (Бахтин 1986: 7–8, 404).

Призыв Горького к установлению личной ответственности «литераторов» перед теми, к кому обращено их слово, позволил Блоку резко противопоставить Горького и самому себе, и своим коллегам, интеллигентам-писателям:

Но я – интеллигент, литератор, и оружие мое – слово. Боясь слов, я их произношу. Боясь «словесности», боясь «литературщины», я жду, однако, ответов словесных; ведь есть у нас, у всех, я думаю, тайная надежда, что не

вечна пропасть между словами и делами, что есть какое-то слово, которое переходит в дело.

Прежде всего – несколько слов о Горьком. [...] Горький никогда не был «догматичен» ни в научном теоретическом, ни в другом, практическом смысле этого слова. Напротив, догматов теоретических он всегда инстинктивно боялся. [...]. Когда говоришь с таким человеком, никогда не чувствуешь уверенности, что он не предпочтет словесному возражению – двинуть попросту кулаком в зубы или обругать последними словами (Блок).

Разрушительный потенциал литературной и общественной деятельности Горького и предложенные им новые художественные и публицистические интерпретации общественного бытия иллюстрируют кризисный социальный фон, размывание общественных структур, ценностей, норм, традиций и стремление разом оборвать бессмысленные процессы в обществе. Разрыв социальных связей создал особый тип переживания, свойственный как автору, так и герою горьковских произведений. Он описан Бахтиным на примере романов Достоевского как самоощущение человека, который «ощущает себя в мире, как целом, без всяких промежуточных инстанций, помимо всякого социального коллектива, к которому он принадлежал бы» (Бахтин, т. 2, 2000: 174). «Голое я», лишенное биографических, семейных, классовых связей, выдвинуто в качестве несущего элемента горьковского рассказа *Рождение человека*. Его смысловым центром является момент появления на свет где-то на обочине большой дороги младенца. Неловкие руки странника перерезают пуповину, соединявшую ребенка с матерью, окунают его в «незнакомую воду» – соленое море, омывая от остатков телесной памяти, следов былого единства с материнской родиной. Образная плоть рассказа – метафора насильственного отчуждения человека от источника жизни, от любви и родства, и перенесения в чужое недружественное пространство, где лишь случай и собственные кулаки дают шанс на выживание. «Последнюю обнаженность, наготу и нищету духовную» заметил у Горького Мережковский, когда сравнивал его героев с героями Достоевского. «Внутреннее босячество», свойственное и тем и другим, он объяснял не следствием внешних социальных условий: они очутились “на дне”, потому что дошли до внутреннего босячества. «Не внутреннее босячество от внешнего, а внешнее от внутреннего» (Максим Горький... 1997: 654).

Надчеловеческую, ибо внесоциальную силу, которую ощущал в себе Горький в предреволюционные годы, его свояк Богданович выводил из мировоззренческой родословной писателя, которую воспроизвел в своих воспоминаниях:

В наших беседах и спорах по этическим вопросам он стоял на почве полной нравственной автономии личности. Теоретически я придерживался Кантовского «категорического императива»: раз «должны», так хочешь – не хочешь, а следуй постоянно и неизменно, в соответствии с правилом, чтобы норма твоего поведения стала бы всеобщей максимой.

Он возражал:

– Не может быть постоянных обязательств. Это противно человеческой природе, а стало быть – нельзя этого требовать. Впоследствии он художественно иллюстрировал этот взгляд в рассказе «Каин и Артем».

В разгаре спора он выкрикнул карамазовское: «все позволено!» и даже покраснел от волнения. Конечно – это был радикализм мнения, а не норма поведения. Это было похоже на тех теоретиков морали, которые принципиально утверждают чистый эгоизм, чтобы на практике делиться последним куском хлеба с неимущим.

В этом же споре он говорил:

– Человек должен быть настолько свободным, чтобы мог дать пинка всякой культуре (Московская 2018: 438).

Социальное сиротство Горького Адам Богданович обосновывал принадлежностью к деклассированным типажам, которым был богат волжский регион:

Лично его ничего не могло привязывать к определенному месту, – ни к Нижнему, который был исходным пунктом его странствований, ни еще менее к Казани, случайному этапу на пути. Близких родственных связей уже не было, а его новые друзья-товарищи – элемент подвижной: сегодня тут, а завтра – там. Волгари исстари – народ непоседливый, а ему в ранние годы так много приходилось переезжать с места на место по всей Волге. Это увлекает и входит в привычку. На Волге процветало ушкуйничество, сменившись казачеством, выродившимся в бурлачество и босячество; на Волге возникла и развилась секта «бегунов», – людей, якобы «взыскующих града»; Волга привлекла и прикрепила к себе десятки и сотни тысяч «волгарей», – элемента сезонного, подвижного, любящего менять места (Московская 2018: 419).

Переписка Горького в силу своей искренности и непредвзятости представляет его сиротствующим в социально осиротевшем мире, где слово приобретает творящую силу воображения и переустройства жизни. Не ограниченные традиционными патриархальными нормами идеологические, жизнотворческие потенции слова обеспечивали внутреннюю связь личности Горького-писателя и Горького-босяка. В письме 1898 г. издателю он признается: «В сущности, [...] дело [...] лишь в том, попал ли я туда, куда метил, и, если попал, – насколько силен удар» (Письма, т. 1: 275).

Если слово для Горького – это удар, то писатель – пророк в полноте библейского смысла, способный проповедью кардинально менять образ мыслей и стиль жизни человека. Горький не находил таких в своем окружении. Разнообразные контексты, где появляется слово «пророк», окрашивают его ироническими тонами: «грязь окружает, насыщает литературный мир [...]. Народ – проснулся, а пророки в кабаки ушли» (Письма, т. 7: 13). Горький не присваивал сам себе статуса пророка и приобрел его без специальных усилий. Называя Горького

«пророком нашего злополучного времени», З. Гиппиус акцентирует его способность к отказу от традиционных социальных норм:

Она [проповедь Горького. – Д. М.] освобождает человека от всего, что он имеет и когда-либо имел: от любви, от нравственности, от имущества, от знания, от красоты, от долга, от семьи, от всякого помышления о Боге, от всякой надежды, от всякого страха, от всякого духовного или телесного устремления и, наконец, от всякой активной воли, – она не освобождает лишь от инстинкта жить (Письма, т. 4: 252).

Выведа этическую систему Горького из культурного круга христианских ценностей, символисты в лице Философова и Мережковского, однако, признали его едва ли не своим, т.е. строителем «новой церкви».

Социальная и идейная чужеродность и отчужденность (ср. блоковское: «положение Горького исключительно и знаменательно; это писатель, вышедший из народа» (Блок) и горьковское: «Я самоучка – Вы знаете это? [...] Я самоучка и связан цепями невежества моего» (Письма, т. 18: 275) – и беспрецедентный всероссийский и международный успех делали Горького поворотным явлением не только в литературе, но в самых исторических судьбах России. Эту мысль филигранно точно сформулировал Мережковский: «Самая возможность такого явления, как он, [...] самая возможность эта, в смысле жизненном, не менее значительна, чем все художественное творчество Толстого и Достоевского» (Максим Горький... 1997: 852). Воспоминания Пятницкого позволяют предположить, что если бы «Горький» не появился, его место занял бы кто-то другой, ему подобный – общество ждало появления мессии с евангелием новой веры:

Книгу нельзя навязывать насильно. Чтобы иметь успех, она должна соответствовать настроению и насущным потребностям общества. Пусть оно кажется в данный момент равнодушным и усталым, – в глубине сознания вечно идет работа и зреют запросы, часто мучительные и острые. Время от времени является человек, который с особенной силой почувствовал и пережил самые болезненные из запросов момента. Пережил и нашел ответ, и сумел облечь его в яркие образы и веские слова. Конечно, он сразу привлекает внимание. Его слова начинают ждать, как откровения. Его книги рвут из рук. Его ставят в положение учителя. Так смотрели на М. Горького (Пятницкий: 62).

Автором *Исповеди* и *Детства* восхищался, искал с ним встречи философ, религиозный мыслитель, будущий академик-физиолог Алексей Алексеевич Ухтомский. В 1915 г. он признавался в письме другу:

Мы, обыденные люди, обыкновенно мало чувствуем; условия окружающей среды и воспитания в разных условностях глушат в нас сердце в отношении страдной жизни ближнего. Нужны большие личные события или большой талант того или иного писателя, чтобы пообнажить наши нервы для

подлинного восприятия жизни. Вот, например, для меня в последние дни таким «будильщиком» был М. Горький [...] этот большой русский автор. Он разбудил хоть ненадолго чувствилище в нашей душе, дал оглянуть подлинную картину человеческой жизни и смерти и подтвердил, что ужас и ада, и смерти проникает насквозь всю толщу человеческой обыденной жизни. В этом отношении М. Горький большой, очень большой писатель, куда более сильный, чем какой-нибудь Андреев (Ухтомский 1996: 77–78).

«Нарочито внимательный к чужой жизни», Горький – «человек, бдящий на камне» – в глазах Ухтомского достоин сравнения со святым Серафимом Саровским (Ухтомский 1996: 79). Яростным апологетом писателя был провинциал с тонким человеческим и писательским чутьем, попович А.А. Золотарев. Волжанин-ярославец, подобно Горькому – с родины сектантов-бегунов, он равнял своего покровителя и друга с протопопом Аввакумом. Они сливались в единый образ, создавали цепь духовной традиции борьбы за «вольный выход из града Антихриста» (Анциферов, Золотарев 2019: 111). В письмах 1910 г. к Горькому с рассказами о посещении Нижнего Новгорода Золотарев упоминает встречи со старообрядцами, чтение их книг и «огненный стиль, адамантову стойкость», аввакумов «правдивый и свободный язык» (Золотарев 2016: 479), в которых Золотарев узнавал горьковские черты (Золотарев: 17).

Сам Горький не примеривал на себя Аввакумовой ясы. Его высказывания о мятежном протопопе едва ли не ироничны. В 1922 г. он пишет: «У меня нет “раздражения против крестьян”, но я вообще не принадлежу к секте народопоклонников, отношусь скептически ко всей массе русского народа – от протопопа Аввакума до К. Победоносцева» (Письма, т. 14: 68).

В дальнейшем социальный вес Горького возрастал без сознательных его усилий. Институализация писателя как идейного и общественного центра со своими коллективными правилами игры завершилась на Капри. Вот как об этом времени вспоминает К.П. Пятницкий:

Маленький островок. Население – рыбаки и крестьяне-виноградари. Писателей они не читают. [...] Но со всем пылом южной души поверили, что Горький – русский Гарибальди: его изгнало русское правительство; ему грозит в России 18 лет каторги; Россия требует от Италии его выдачи; словом – это мученик. Кто пустил эти выдумки – сказать трудно: но вы их найдете в итальянских газетах 1908–1909 гг. В стране, где живы предания о Гарибальди и его сподвижниках, ореол «изгнанника» и «мученика» обеспечивал поклонение и горячие симпатии. [...] это был мирок замкнутый и совершенно своеобразный. Доступ – в руках Марьи Федоровны. [...] Встретить Горького без свиты было невозможно. [...] Тон, установленный в этом мирке Марьей Федоровной, можно назвать так: почтительное поклонение³. Еще в письме от 25 февраля 1905 года она говорила мне о Горьком: «Ведь это же сейчас первый человек на земле». В 1907 она писала: «Он знамя [...] знамя всего светлого,

³ Здесь и далее в цитате подчеркивания К.П. Пятницкого.

яркого, смелого и чистого» [...]. Что писалось, то и говорилось. 1 января 1907, ври встрече нового года, Марья Федоровна громкого говорила мне: «Алексей Максмович – не человек. Это – бог» [...]. Горький не мог не слышать, потому что сидел близко [...]. Потерпевшему неудачу с портретом Горького В.Д. Фалилееву М.Ф. говорила: «Алексея Максмыча надо рисовать как готический собор. Все рвется вверх, все рвется вверх. Сам Горький любил говорить: «Писатель – это пророк. Он стоит на горе и поучает. Он пророчествует». Этим взглядом прониклись и некоторые из людей, к нему близких. 5 апреля 1912 г. мне пришлось вести продолжительный разговор с А.А. Золотаревым, который был под сильным влиянием Горького. Я предостерегал, между прочим, против этой страсти учить и пророчествовать. [...]. Если человек, призванный к подвигам, более скромным станет ставить перед собой такие цели, ему грозит опасность сделаться ритором в литературе и урядником в жизни. А.А. Золотарев полагал, что Горький должен пророчествовать. Свою речь он закончил словами: «Если Горький не пророк, он ничто». «Каприйская обстановка действовала [...]. На Капри ежегодно заезжали десятки тысяч туристов. Многие интересовались Горьким и расспрашивали каприйцев о его жизни (Пятницкий 96–101).

Легенды о Горьком проникали в газеты, газеты интерпретировали их и создавали новые.

Каприйский период русской литературы – это время конвенциональной процедуры превращения высказываний Горького в перформативные, обладающие свойством установления норм и правил поведения. Горький стал тем, кому теперь уже само общество делегировало сверхчеловеческое право быть носителем новой истины, новых социальных ценностей. Произошло это во многом потому, что к этике Горького были применены аналогии и ценностные шкалы из знакомого духовного и культурного контекста прошлого. Вокруг Горького сам собой слагался, поддерживался и транслировался коллективный миф, в основе которого лежали образы носителей социального и духовного протеста, харизматичных мастеров слова – глашатаев, Прометея, Исаяи – Пророка, огненного Аввакума. Горький занял уникальное положение, оказавшись за пределами идеологического дискурса царизма и за рамками литературы как социального института, обслуживающего отжившие общественные связи и отношения. Из этой «внешней» позиции он получил возможность осуществлять оценку любых идеологических высказываний и формулировок. Горьковский миф уже в 1908 г. подсказал Мережковскому формулу: «Как явление художественного творчества, Толстой и Достоевский неизмеримо значительнее Горького. О них можно судить по тому, что они говорят; о Горьком – нельзя: важнее всего, что он говорит, то что он есть» (Максим Горький... 1997: 852). Спустя четверть века Ю.Н. Тынянов подтвердил верность наблюдения Мережковского. Горький, писал он, «один из тех писателей, личность которых сама по себе – литературное явление; легенда, окружающая его личность, – это та же литература, но только ненаписанная» (Тынянов 1977: 168).

«Легендарность» Горького лишь усилилась *Несвоевременными мыслями* и отъездом из России. С авторитетом Горького считались левовцы и Маяковский, хотя последний прикрывался насмешливой иронией: «Очень жалко мне, товарищ Горький, / что не видно Вас на стройке наших дней. / Думаете – с Капри, с горки / Вам видней?» К Горькому в его полуэмиграцию в Сорренто ехали для консультаций советские писатели. При всей шутовщине созданного здесь домашнего журнала «Соррентинская правда» (Соррентинская правда... 2018) авторитет ее демиурга – Горького, «человека с большими усами», «человека в халате», «большого человека» и т.д., «корреспондентами» газеты, Н. Берберовой, В. Ходасевичем, В. Ходасевич, М. Будберг, М. Пешковым и др. не подвергался снижению. И даже в шутовском дискурсе Горький сохранил незыблемым свой пьедестал.

Горький инициировал в Сорренто множество идеологически выстроенных культурных проектов – от издательских серий до создания журналов, послуживших основанием для строительства новой культуры Советской России. Всесоюзная институализация Горького как создателя новых духовных ценностей советских людей началась с его возвращения на родину при непосредственной поддержке вождя, И.В. Сталина. Горький покидал Россию, оставаясь идейным оппозиционером В.И. Ленина. После возвращения он выступил организатором литературного процесса, возглавил Оргкомитет союза советских писателей, направляя его деятельность на создание нового писательского объединения. Его роль политика в литературе проявилась в организации журнала «Наши достижения», освещающего успехи индустриализации и коллективизации. Он с оптимизмом писал о перевоспитании преступников, о Соловках, спорил с Западом, обвинявшим Россию в использовании труда политзаключенных, и по подсказке Ягоды создал сценарий *Преступники*, посвященный воспитанникам Болшевской коммуны. Под впечатлением о сфальсифицированном процессе «Промпартии» начал в 1931 г. работу над пьесой об инженерах *Сомов и другие*, пытался написать своевременное произведение о герое социалистического производства (Мальгина, Московская 2018: 43–51). Горький после возвращения на родину – уже не человек и даже не пророк. Он новый Адам, называющий мир, создатель нового языка, новых смыслов, новых ценностных коннотаций: «Мне кажется, что для рабочего класса было бы полезно усвоить такой взгляд на культуру. Все, что именуется культурой, возникло из инстинкта самозащиты» (Горький 1933: 43). Или – относительно понятия «Истина»:

Лично мне ничего не известно [...] о «единой и вечной истине». Я думаю, что истины творятся только опытной наукой. Кто-то очень хорошо сказал, что «истина, это – орудие познания», а известно, что каждое орудие изнашивается» (Горький 1933: 34).

В другом месте, по поводу казни контрреволюционеров: «моя оценка казни 48-ми резко расходится с оценкой “Лиги защиты прав человека”» (Горький 1933: 45).

Отныне Горький не столько констатирует факты, сколько создает новые, не отражает социальную реальность, а получает право ее менять. Он вводит в оборот и *хабитуализирует* свои понятия и оценки, создает новые исторические нарративы

(проекты «История фабрик и заводов» (Журавлев 1997), «История Гражданской войны» (Историография... 2018), «История русских городов как история быта» (Московская 2009: 144–150) и проч.) и борется, как и прежде, за душу не определившегося героя новой советской действительности.

Исключительная роль писателя в создании языка эпохи, делегированная ему власть – все это способствовало распространению мнения, что Горький – создатель метода социалистического реализма, тогда как формально это не так, а содержательно – именно так. Горький в восприятии общества – самостоятельная институция. К нему обращаются за протекцией, например, А.П. Платонов, который после публикации повести *Впрок* потерял право считаться советским писателем.

Одновременно созревала потаенный протест против горьковского нового «языкового стандарта». Сомнения в его нравственной легитимности Платонов выразил в предназначенной для горьковского издания «Записные книжки», но не опубликованной статье *О первой социалистической трагедии*.

Особенно точен был друг Горького Золотарев, который сравнивал Горького с Буниным: «Для Ивана Алексеевича слово было божественного происхождения. [...] Для людей новой эпохи, нового мировоззрения, к которым примкнул Горький-послекаприец, роль слова сводилась к служебному положению [...] как на закон в известной народной пословице: «закон что дышло, куда повернул, туда и вышло».

Сомнения в этической природе горьковских истин оказались, в конечном счете, сомнениями относительно истин социалистического строя. Поэтому созданный Горьким и развитый его последователями литературно-политический дискурс был непрочным и обреченным на уничтожение.

* * *

Говоря сегодня о феномене Горького, следует вспомнить наиболее значительные образы и высказывания его героев.

Сатинское «человек – звучит гордо», обетования странника Луки, обращенные к насельникам человеческого дна («подонкам») о возможности преображения жизни, если довериться вдохновляющему, будящему воображение слову, отвечает самому главному гуманитарному открытию XX века – персонализму. Имеющий в своей основе иудео-христианскую религиозную этику с ее философски утвержденной идеей незавершенности, динамичности «лица другого» идейно-образный строй горьковского творчества предлагает открытую структуру, «нерешенный интеграл» человеческой личности, о которой невозможно вынести окончательного суждения.

Горький освобождает своих героев от «завершающей и как бы умерщвляющей оправы чужих слов», возвращая им право выбора, высокую свободу духовного преображения и ничем не ограниченного развития.

Парадоксальным образом, Горький, которого считают создателем авторитетного стиля, в жизни и в художественном умозрении разлагает душный монологизм завершенности социальных и даже природных форм бытия, напоминая человеку о праве стать соработником Бога во Вселенной.

Неустанная борьба Горького за это высшее призвание человека сохраняет писателя на пьедестале лучших мыслителей XX века.

Источники:

Золотарев А., Архив А.М. Горького, КГ-П. 29-2-14, л. 17.

Пятницкий К., Архив А.М. Горького, «Зн» док. 30-17/2.

Литература:

Анциферов Н., Золотарев А., 2009, Ярославль. *История. Культура. Быт*, Ярославль 2019.

Бахтин М., 1986, *Эстетика словесного творчества*, Москва.

Бахтин М., 2000, *Собрание сочинений: В 7 т.*, т. 2, Москва.

Блок А. *Россия и интеллигенция*, <https://www.philol.msu.ru/~rlitsm/materials/blok.pdf> [03.09.2019].

Волошинов В.Н., 1993, *Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке*, Москва.

Горький М., 1933, *Публицистические статьи*, Ленинград.

Горький М., 1997-2019, *Полное собрание сочинений. Письма: В 24 т.* Москва.

Живов В., 2005, *Язык и революция. Размышления над старой книгой А. М. Селищева*, «Отечественные записки» 2005, №2. Эл. ресурс: <http://www.strana-oz.ru/2005/2/yazyk-i-revoluciya-razmyshleniya-nad-staroy-knigoy-a-m-selishcheva> [03.09.2019].

Журавлев С., 1997, *Феномен «Истории фабрик и заводов»: Горьковское начинание в контексте эпохи 1930-х гг.*, Москва.

Золотарев А., 2016, *Сатро сано моей памяти: Мемуары. Художественная проза. Стихотворения. Публицистика. Философские произведения. Высказывания современников*, Санкт-Петербург.

Историография... 2018: *Историография Гражданской войны в России. исследования и публикации архивных материалов*, Москва.

Максим Горький..., 1997, *Максим Горький: Pro et Contra. Личность и творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и исследователей. 1890-1910-е гг.*, Санкт-Петербург.

Малыгина Н., Московская Д., 2018, *Диалог с Горьким в пьесе А.П. Платонова «Высокое напряжение» («Объявление о смерти»)*, «Филологические науки», № 4. с. 43-51.

Московская Д. (ред.), 2018, *М. Горький и А. Богданович. Дружба, рожденная на берегах Волги*, Москва.

Московская Д., 2009, *К хронике горьковского проекта «История русских городов» на материале неопубликованной монографии А.А. Золотарева и Н.П. Анциферова «Ярославль»*, [в:] *Нижегородский текст русской словесности*, Н. Новгород, с. 144–150.

Полонский Вяч., 1988, *О литературе. Избранные работы*, Москва.

Соррентинская правда..., 2018: *Соррентинская правда. Книга-альбом: К 150-летию со дня рождения Максима Горького*, Москва-Верона.

Спиридонова Л., 2008, *«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться...». Ранние романтические произведения М. Горького*, [в:] Москва: Портал «О литературе», LITERARY.RU. Дата обновления: 05 марта 2008. Цит. по: URL:

<http://literary.ru/literary.ru/readme.php?subaction=showfull&id=1204713304&archive=1205324254> [14.11.2019].

Тынянов Ю., 1977, *Поэтика. История литературы. Кино*, Москва.

Ухтомский А., 1996, *Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях*, Санкт-Петербург.

Sources:

Zolotarev A., Arkhiv A.M. Gor'kogo, KG-P. 29-2-14, l. 17.

Piatnickij K., Arkhiv A.M. Gor'kogo, «Zn» dok. 30-17/2.

References:

Anciferov N., Zolotarev A., 2009, *Ysroslavl'. Istoriya. Kul'tura. Byt*, Yaroslavl' 2019.

Bakhtin M., 1986, *Estetika slovesnogo tvorchestva*, Moskva.

Bakhtin M., 2000, *Sobraniye sochineniy: V 7 t.*, vol. 2, Moskva.

Blok A. *Rossiya i intelligentsya*, <https://www.philol.msu.ru/~rlism/materials/blok.pdf> [03.09.2019].

Gor'kij M., 1933, *Publicisticheskiye stat'i*, Leningrad.

Gor'kij M., 1997-2019, *Polnoe sobranie sochineniy. Pis'ma: V 24 t.*, Moskva.

Istoriografiya... 2018, *Istoriografiya Grazhdanskoj vojny v Rossii. issledovaniya i publikacii arhivnykh materialov*, Moskva.

Maksim Gor'kiy..., 1997, *Maksim Gor'kiy: Pro et Contra. Lichnost' i tvorchestvo Maksima Gor'kogo v ocenke russkikh mysliteley i issledovateley. 1890–1910-e gg.*, Sankt-Peterburg.

Malygina N., Moskovskaya D., 2018, *Dialog s Gor'kim v p'yese A.P. Platonova «Vysokoe napryazheniye» («Ob'yavlenie o smerti»)*, «Filologicheskie nauki», no. 4. pp. 43–51.

Moskovskaya D. (ed.), 2018, *M. Gor'kiy i A. Bogdanovich. Druzhba rozhdennaya na beregakh Volgi*, Moskva.

Moskovskaya D., 2009, *K hronike gor'kovskogo proekta «Istoriya russkikh gorodov» na materiale neopublik. monografii A.A. Zolotareva i N.P. Antsiferova «Yaroslavl'»*, [in:] *Nizhegorodskiy tekst russkoy slovesnosti*, N. Novgorod, pp. 144–150.

Polonskiy V., 1988, *O literature. Izbrannye raboty*, Moskva.

Sorrentinskaya pravda..., 2018: *Sorrentinskaya pravda. Kniga-al'bom: K 150-letiyu so dnâ rozhdeniya Maksima Gor'kogo*, Moskva - Verona.

Spiridonova L., 2008, «*Ya v mir prishel, chtoby ne soglasht'sya...»*. *Rannie romanticheskiye proizvedeniya M. Gor'kogo*, [in:] Moskva: Portal «O literature», LITERARY.RU. Data obnovleniâ: 05 marta 2008. Cit. po: URL: <http://literary.ru/literary.ru/readme.php?subaction=showfull> [03.09.2019].

Voloshinov V.N., 1993, *Marksizm i filosofiya yazyka. Osnovnyye problemy sociologicheskogo metoda v nauke o âzyke*, Moskva.

Zhivov V., 2005, *Yazyk i revolyutsiya. Razmyshleniya nad staroy knigoy A. M. Selisheva, «Otečestvennye zapiski»* 2005, no 2. El. resurs: <http://www.strana-oz.ru/2005/2/yazyk-i-revolyuciya-razmyshleniya-nad-staroy-knigoy-a-m-selishcheva> [03.09.2019].

- Zhuravlev S., 1997, *Fenomen «Istorii fabrik i zavodov»: Gor'kovskoe nachinaniye v kontekste epokhi 1930-kh gg.*, Moskva.
- Zolotarev A., 2016, *Campo santo moej pamyati: Memuary. Khudozhestvennaya proza. Stihotvoreniya. Publitsistika. Filosofskiye proizvedeniya. Vyskazyvaniya sovremennikov*, Sankt-Peterburg.